

Восточноевропейский блюз. Раз, два

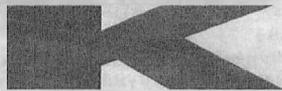
MURX! Режиссер Кристоф Мартхалер. Художник Анна Виброк.

Музыка – Руди Хаузерман, Юрг Кинберг, Кристоф Мартхалер.

Драматургия – Матиас Лиеленталь. Volksbuhne am Rosa-Luxemburg-Platz.

Вильнюс

Дмитрий Веллер



урок спускается, услышав повелительное «три»: убей! Прикончи! Если он (она, они) еще дышит, ибо «здесь, на земле, мы все одинаковые, и лишь на небе нас разводит жребий». Поэтому — умри. Возможно, там, где ты окажешься, все начнется с начала. И у тебя есть шанс. Шанс наперстать удушное, т. к. смерть — еще не все, наконец. Если ты об этом знал. Помни, что будущее — в сущности, массив времени, которым ты мечтаешь воспользоваться. Употребить.

Причина, как правило, потешается над следствием, так как с порожденным расправиться легче, чем с несуществующим. Любой тоталитарный режим (фашизм, коммунизм) есть ускоритель элементарных частиц (людей). И тогда смерть не столько вопрос времени, но качества жизни, ибо измельченно-раздробленная чувственно-мыслительная суть не способна адекватно отразить трепыхание чего бы то ни было: например, хлопающих сердечных камер или легко нстирающихся первых клеток.

Структура спектакля MURX! линейна. Ночные молитвенные песни, переходящие в ура-патристические подывания и, в конечном итоге, в марш, объединяющий всех и постепенно затихающий. Утреннее безмолвное зенитие, скудный завтрак. Граница может продолжаться бесконечно долго, невзирая на неинформированность пары. Точно так же актеры лишь обозначают игру на смычковом инструменте вопреки отсутствию одного — набор жестов, институционализированных в «Блоу-ап». (Только однажды, договорившись, два безликих человека исполнили тоскливый блюз в память об историческом опыте восточноевропейского континента. Эта импровизация рассчитана на сочувствие, если отказано в участии). Не сон, но жестокая до безобразия имитация яви. Даже возврат к одним и тем же почти ритуальным действиям становится апофеозом незнакомца, ибо повторяемость неоправдана. Случайный жест и выражение лица клиничированы, абсурдны, но ритмичны, потому что постукоп, слово, возглас, опенение предприняты свистком, командой, ревом sireны. И тогда персонажи встают и, соблюдая очерочность, затылок в затылок, падают в туалет. Условность декораций лишь подтверждает схематичность происходящего. Все визуально механистично и функционально. Сцена, поделенная пополам двумя параллельными рядами примитивных столов и привлекших к ним стульев, напоминает третьесортную столовую, содреалистическую

стандартную квартиру, актовый зал, убыточный производственный цех и салон обездвиженного детального аппарата одновременно. Там не умереть, потому что сие не приспособлено для жизни. В таких условиях выжить считается несчастьем. Но то юлые, безымянные люди, чье внутреннее напряжение тратится на ленивую болтовню, разбавленную фразами типа «Только колбаса имеет два», что утверждает явно прикладное значение. Нагромождение фаллической символики компенсируется всамделишным бессилием. На стене огромные часы, чей сморщенный белесый циферблат что сонное, смятое лицо Германии (бывшей Империи). И стрелкам незачем мельтешить: секундной не обогатят минутовую. Все конечно. Все в прошлом, в нигде. Над часами дополняющая картинку надпись по-немецки: «Чтобы не остановилось время». Ибо в часах хранится память, кою дарует прошлое безответному настоящему. Огромный вентилятор, бывший о собственной функции, вбирает оставшийся воздух (реверс ускорения), ибо пространство (комната, государство) загерметизировано, запаяно наглухо.

Антисобытия происходят в вакууме. Сюда не проникнет свет (взгляд), не просочится влага (слово). Старое школьное пианино жлет прикосновения кончиков пальцев, точно девственница. Но не извлеч звук великой классики, лишь сланцано-приоритные аккорды бакинского бюргерского мотивника взрывают густую, спертую атмосферу небытия. Но этого достаточно для того, чтобы расшевелить примитивные чувства и гаркнуть: MURX!, ein, zwei. И только эхо мечется между свидетелями (рая, ала), точно безумец в поисках смерти. Это замкнутый мир, это хватание спавшимся легкими отравленного воздуха. Швейцарский режиссер, кажется, добился своего. MURX! — это тупик, точка отрицания. Отрицания веры в жизнь. Ибо зрителю дано видеть только часть невидимого: отдельные слова назидательнее целого, мрачность доведена до отчаяния. Миллиметр, легкий сдвиг принца — и бездна, раскрытая глотка черноты. Здесь нет избытка внешних форм, лишь внутренняя подталкивающая-тяжеловесная пассивная самодостаточность. И невязкость заполняет пространство, отделяющее человека от сорванного с оставших губ единственного слова. Слов. Снасения.

Наверное, механик, не выдержав бессловесности, подходит к печи, из которой вырывается не пламя, но музыка — знакомая, точно затылочная боль. Это «Интернационал». Самое время для нового гимна. И люди, ненавидящие друг друга, проговаривая известную проповедь, братаются. Чем живнее, тем нагляднее. Все космополитизировано: вино, несня, вера, судьба. Трудно быть немцем. (Один из персонажей с завидной настойчивостью

демонстрирует атрофированную мускулатуру — утраченный культ силы.) Проще быть пикем, но жестоким. И чтобы из кровотока горла доносился лишь боевой клич, не требующий интерпретаций и разочтений. MURX! — это акция интеллектуального террора, распад (отклеивающиеся по ходу спектакля буквы), уничтожение основных институтов культуры, ибо тоталитаризм есть денотация враждебности. Столы и стулья расставлены так, что уместно говорить о конфиденциальности судеб. Частная жизнь растворяется в гомогенном массиве общественной. Онаист абсолютно не смущает школьного учителя. Безумец сродни инженеру. Молодая особа женского пола превдвухнаест миг совокупления с лицом неизвестного социального статуса. Голосиная студентка то и дело падает в обморок при виде самоуодовлетворяющегося придурка. Добропорядочный ариец цитирует одно и то же лирическое стихотворение, указывая остальным путь к истине. Официант, оп же тапер, братится с соседом, вовлекая участников спектакля в безудержный смех. Некто заботится о чистоте нации, не произнеси за два с половиной часа ни слова. Пожилая дама морщится, готовясь заснуть, не реагируя на слезу: складки на лице набухли от злобы. Большинство персонажей так и не оторвались от деревянной спинки стула, прожывая безразличным взглядом друг разбушевавшегося почти-мертвеца. Равнодушные. Застывшие поэты анонимов с выставленными языками ладонями: застребущими, трясующимися, налетающими.

Когда в начале спектакля вы топидаете в зрительный зал, то видите рассажженных заранее артистов: кто-то бормочет или насвистывает, просто скалится. Персонажи готовы. Свет не гаснет. Домашняя, тошнотворная обстановка. Они ждут, пока зрители займут свои места, чтобы завести унылую песню. В эпоху тотального страха и позорительности она исполняется шепотом: «Danke за друзей, за утро, за рабочее место, за омарованную (по смятую) душу, спасибо за то, что мы можем благодарить Тебя, Господи». Хор всегда невнятен. То заслуга солиста. Танцоры судорожно сокращаются неупопад и некстати. Пассажирский лифт, запутавшись в измерениях, уполобился горизонтально-соплетенным кабинетам, точно уровень жидкости в стакане. Часы, шлохнувшись напоследок, приняли вид расширенно-воспаленного глаза. Прозрачные стены объектомунальной площади, визуализируясь, смотрят на жильцов, точно растравленные пси. Но, подвизившись яловитой слюной, умолкают. Кладбищенский запах. Оставшиеся оболочки, не обремененные плотью персонажей, нкуда не исчезнув после окончания спектакля, мгновенно займают прилегающую им и после смерти территорию. Раз, два.